

Ларина Анна Михайловна жена Н.И. Бухарина.

Томский лагерь был для меня первым. До своего вторичного ареста я пробыла в нем всего лишь несколько месяцев, там мне пришлось пережить "бухаринский процесс" и расстрел Николая Ивановича. Именно там я особенно остро почувствовала трагедию того времени и, несмотря на ужас переживаемого лично, в большей степени стала воспринимать ее как трагедию Советской страны. Томский лагерь, где содержались около четырех тысяч жен "изменников Родины", был не единственным, а одним из многих такого типа.

Мужскую часть человечества в нем представляли тюремные надзиратели в черных шинелях, пересчитывавшие нас каждое утро, и ассенизатор "дядя Кака", прозванный так двухлетним мальчиком Юрой, заключенным в лагерь вместе с матерью. У всех нас, очень разных — по моральным и интеллектуальным качествам, по прежнему положению своих мужей и их биографиям (были жены старых революционеров — Шляпникова, Бела Куна, жены военных — И.Э. Якира, его младшего брата, тоже расстрелянного, сестры М.Н. Тухачевского, жены руководящих партийных и советских работников союзных республик, председателей колхозов, просто колхозников, председателей сельсоветов, жены сотрудников НКВД, работавших при Ягоде), — был общий эквивалент, определивший путь в этот лагерь: жены "врагов народа", как правило, не знающие исключений, никогда ими не бывшие. Но мы именовались ЧСИРы — члены семьи изменников Родины.

На всю жизнь врезался в память эпизод, когда на второй день после моего прибытия в лагерь собрали "обыкновенных" ЧСИРов в круг перед бараками, поставили меня и жену Якира в центр круга и начальник, приехавший из ГУЛАГа, крикнул во весь голос: "Видите этих женщин, это жены злейших врагов народа; они помогали врагам народа в их предательской деятельности, а здесь, видите ли, они еще фыркают, все им не нравится, все им не так". Да мы и фыркнуть-то не успели, хотя нравиться там никому не могло. Мы были даже относительно довольны, что после долгого мучительного этапа и пересыльных тюрем, наконец (как мы думали) добрались до места назначения.

С яростью прокричавший эти страшные слова здоровый, краснощекий, самодовольный начальник направился к воротам Томской тюрьмы. Заключенные в ужасе расходились. Были и такие, кто стал нас сторониться, но большинство негодовали. Потрясенные, мы не могли сдвинуться с места — было такое ощущение, будто нас пропустили сквозь строй. Так и стояли в оцепенении на сорокаградусном морозе, пока кто-то не отвел нас в барак, в наш холодный угол у окна, обросшего толстыми махрами снега. Двухэтажные нары были битком набиты женщинами. Ночь — сплошное мучение: мало кому удавалось устроиться свободно, почти все лежали на боку, а когда хотелось переменить положение, надо было будить соседку, чтобы перевернуться одновременно, и начиналась цепная реакция всеобщего пробуждения.

В этот день барак походил на разворошенный улей. Все взволнованно обсуждали случившееся. Иные злобствовали: "Вот, натворили эти бухарины и якиры, а наши мужья и мы из-за них страдаем". Остальные ругали начальника из ГУЛАГа, и многие советовали писать жалобу в Москву, но мы понимали, что это бесполезно. Ночь не спали, сидели на краю нар (места наши "заросли" спящими человеческими телами) — не только спать, даже жить в тот момент не хотелось. Мы тихо разговаривали.

11 июня 1937 года Якир был расстрелян. 20 сентября его жена и четырнадцатилетний сын были арестованы в Астрахани, где они находились в ссылке. Сарра Лазаревна Якир и без того была еле живая. Я была арестована там же в один день с ними.

Теперь шел декабрь 1937 года — мне еще предстояло пережить расстрел Николая Ивановича, и я в напряжении ждала. Переписка была запрещена. Позже нам разрешили написать одно-единственное письмо с просьбой прислать теплые вещи и сообщением о

возможности посылать нам раз в месяц продуктовые посылки; но подтверждать письмом получение посылок запретили.

Утром мы с Саррой Лазаревной вышли из затхлого барака в зону, чтобы отвлечься от своих мыслей, подышать воздухом. В морозной дымке светило малиново-красное сибирское солнце (к войне такое солнце, — говорили женщины) и чуть румянило снег, который у самого забора, куда не ступала нога человека (ходить туда было запрещено), сохранял свою девственную чистоту. По углам забора, наскоро сколоченного из горбыля, стояли вышки, откуда следили за нами дежурные конвоиры (их называли еще стрелками), и если чуть ближе подойти к забору, тотчас раздавался крик: "Стой! Кто идет?" Дорога, ведущая от убогих бараков к кухне, стала единственным маршрутом и всегда была полна женщин. На лицах многих лежала печать недоумения, испуга и страдания. Шутя, мы называли эту дорогу "Невским проспектом" (среди нас было много ленинградцев) или "главная улица в панике бешеной". Чтобы не замерзнуть, бегали по ней толпы несчастных. Большинство — в рваных телогрейках, холодных бусах. Те, кто был арестован летом, прикрывались лагерными суконными одеялами, заменявшими юбки или платки. Завидев издали, меня подозвала Людмила Кузьминична Шапошникова. Она знала моих родителей и помнила меня еще девочкой. Блондинка с зеленоватыми глазами и приятной добродушной улыбкой, Людмила Кузьминична и в лагере сохранила свое прежнее обаяние. В лагере Людмилу Кузьминичну любили, она пользовалась авторитетом у ЧСИРов, ее избрали на самый ответственный пост — заведовать кухней (никакого производства в томском лагере не было).

В лагере женщины изнывали и от ужасающих условий, и от безделья. Работы не было. Книг и газет не давали. Позже многим прислали в посылках нитки для вязания и вышивания. Особенно отличались украинки, их рукоделие было достойно художественных выставок.

Наиболее оживленным местом стала площадка возле кухни. Там кипела работа: выносили бочки с баландой и кашей, пилили и кололи дрова, жужжала пила, и стучал топор. Особенной ловкостью отличалась живая, остроглазая Таня Извекова, бывшая жена Лазаря Шацкого, организатора комсомола, любимого, авторитетного, интеллектуального вождя комсомолки первых лет Революции. На морозе со звоном падали из-под топора поленья. Вокруг работающих всегда собирался народ на подмогу. Оптимисты приносили радостные "параши" (слухи — на лагерном жаргоне): к Новому году будет амнистия, к 1 Мая — амнистия, а уж ко дню рождения Сталина — обязательно.

Навсегда осталась в памяти рабочая кухни Дина. Она была среди нас исключением. По отношению к ней была совершена двойная несправедливость. Дина не только не была женой «изменника Родины», но к моменту ареста вообще не была замужем. Женщина крепкого телосложения, бывшая одесская грузчица, Дина рассталась со своим мужем за много лет до ареста. Он тогда тоже был рабочим в порту. Только на следствии узнала Дина, что ее бывший муж занимал потом высокий пост в каком-то городе. Он никогда не сообщал ей о себе. Дина была гордая женщина, она не разыскивала своего супруга и растила детей, не получая от отца ни гроша. Не хлопотала она и о расторжении брака. Это обстоятельство и загнало Дину в капкан. Никакие объяснения на следствии не помогли.

В Томске Дина была использована как тягловая сила — она заменяла лошадь. Мы получали продукты из Томской тюрьмы. В обязанности Дины входило грузить продукты на телегу и доставлять их к кухне. Она подвозила картошку, капусту, крупу и мясные туши — такие тощие, будто эту несчастную скотину специально для нас и растили.

В томском лагере было шестьдесят женщин, арестованных с новорожденными детьми. Только один Юра был двухлетний. Я часто приходила к нему. Он жил вместе с матерью в "мамочном" бараке и напоминал мне моего Юру — был к тому времени, к весне 1938 года, такого же возраста и даже внешне чем-то на него походил.

Дети подрастали, и надо было их одеть. Людмила Кузьминична добилась, чтобы нам дали байки, и мы шили для детей одежду. Матерей мы звали по имени детей: Любочкина мама, Васькина мама, Ванькина мама.

Судьба свела меня с матерью, сыном которой гордилась вся страна. Зато и проклинала страна его дружно. Я знала, что это такое, хотя была не матерью такого сына, а женой всенародно проклятого мужа. Всенародное проклятие, всенародное глумление — что может быть страшнее этого? Только смерть — спасение от такой муки!

Та, которую я встретила, была не "Орина — мать солдатская", а Мавра — мать маршальская, тоже простая крестьянская женщина. Я встретила с семьей Тухачевского в самые трагические для нее дни, в поезде Москва — Астрахань, 11 июня 1937 года по пути в ссылку. Меня довез на машине до вокзала и посадил в вагон (бесплацкартный, зато бесплатный) сотрудник НКВД, нарочито вежливо распрощавшийся со мной и как будто в насмешку пожелавший всего хорошего. По дороге на станциях выходили из вагонов пассажиры и хватали газеты с сенсационными известиями. В них сообщалось, что "Военная Коллегия Верховного Суда СССР на закрытом судебном заседании рассмотрела...", что "все обвиняемые признали себя виновными" и "приговор приведен в исполнение". В тот день погибли крупнейшие военачальники — Тухачевский, Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, Фельдман, Путна, Примаков. Начальник Политуправления Красной Армии Я.Б. Гамарник 31 мая 1937 года покончил жизнь самоубийством.

Когда в детстве я впервые увидела Тухачевского, я не могла оторвать от него глаз. Так уставилась на него, разинув рот, что вызвала смех окружающих и добродушную улыбку Михаила Николаевича. "И дети любят красивое", — заметил отец.

Теперь я смотрела на его мать. Мертвенно-бледное лицо и дрожь больших, порабатовавших на своем веку рук выдавали ее волнение. Она сохранила следы былой красоты, и я улавливала черты, переданные ею сыну. Была она крупная, казалась еще крепкой и удивительно гордой даже в страдании, даже в унижении.

Я уже писала, что в Томском лагере в марте 1938 года мне пришлось пережить процесс. Если возможно оценить пережитое по степени тяжести, то, несомненно, месяцы следствия до ареста Бухарина — даже не процесс — были самыми невыносимыми. Тогда сознание еще не свыклось с ужасающими обвинениями в "дворцовом перевороте", терроре и против Сталина, и против Ленина в 1918 году, не свыклось со страшными и необъясненными не только для меня, но и для Николая Ивановича очными ставками, и не умер в моей памяти тот вьюжный февральский вечер 1937 года, когда я провожала в Кремле ослабевшего от голодовки Бухарина на знаменитый февральско-мартовский Пленум 1937 года. Суд стал логическим завершением того, что зримо-явно началось для Николая Ивановича в августе 1936 года, когда на зиновьевском процессе были упомянуты имена Бухарина, Томского, Рыкова, Радека и других, но очень тонко, как теперь понятно, подготовлялось Сталиным сразу, же после смерти Владимира Ильича.

Я была отправлена в лагерь до осуждения Бухарина.

Я долго ждала процесса — целый год. Я понимала, что приговор будет смертным, другого не ждала и молила о скорейшем конце, чтобы прекратились мучения Николая Ивановича. Но у меня теплилась слабая надежда, что Бухарин уйдет из жизни гордо. Что он так же, как на Февральско-мартовском пленуме 1937 года, громко, на весь мир заявит: «Нет, нет, нет! Я лгать на себя не буду!» Эта надежда была ничем не обоснована и родилась только от большой любви к Николаю Ивановичу.

В лагере я уже хорошо понимала, что все обвиняемые, проходившие по процессу, признаются в преступлениях, которые они не могли совершить.

Обычно в лагере мы газет не получали. В первых числах марта 1938 года надзиратель принес газеты, в которых освещался процесс. "Почитайте, почитайте, кто вы есть!" Он брезгливо и злобно посмотрел на меня, отдал газеты старосте барака, хлопнул дверью и вышел. Эта староста, по фамилии Земская (у меня ее фамилия и внешний вид ассоциировались всегда со змеей), конечно, тоже была чья-то жена, работала раньше в

Ленинграде прокурором, а в лагере была осведомителем. Однажды, еще до процесса. Земская уже успела сделать мне неприятность тем, что сообщила в 3-ю следственную часть о том, что у меня имеется книга со штампом "библиотека Н.И. Бухарина" и очень подозрительным названием "Опасные связи". Это была книга французского писателя и политического деятеля XVIII века Шодерло де Лакло, очень живо и остроумно написанный роман в письмах. Он был прекрасно издан в начале 30-х годов советским издательством "Academia". Трудно теперь сказать, почему именно эта книга оказалась у меня с собой. После доноса Земской у меня был устроен персональный обыск, и старинный французский роман о светских озорниках забрали как контрреволюционный. Так мне объяснили, когда я обратилась с просьбой вернуть книгу.

Итак, нам принесли все газеты, освещавшие процесс, кроме той, где было опубликовано последнее слово Бухарина. Меня очень интересовало, простая ли это случайность, или за этим что-то кроется? Газеты в руки заключенным не давали, староста читала их вслух, сидя на верхних нарах, как раз напротив меня. Читая обвинительные заключения, она иногда отрывалась и поглядывала в мою сторону, чтобы потом донести, как я на все реагирую.

После процесса, закончившегося 13 марта 1938 года, я в основном лежала на нарах, ошеломленная ужасающим судилищем, ослабевшая от еще большего недоедания, чем обычно, так как и кусок хлеба в горло не шел. Немного оправившись, я стала появляться за пределами барака — в зоне. В этом лагере я была единственной женой, муж которой прошел по открытому процессу. Кроме меня, только жена Якира знала о трагической судьбе мужа. Подавляющее большинство женщин ничего о мужьях не знали и надеялись, что они живы.

В те дни я особенно привлекала внимание окружающих. По-разному относились ко мне. Это зависело, главным образом, от политического развития, интеллектуального уровня, от того, как они до процесса воспринимали Бухарина, как близко они знали Николая Ивановича и его сопроцессников. Поэтому я чувствовала на себе злобные взгляды тех, кто принимал признания обвиняемых за чистую монету. Таких, к сожалению, было немало. Но видела я и с болью смотревшие на меня глаза тех, кто все понимал, и страдание многих, кто знал Бухарина, да и не только его.

Жена одного украинского партийного работника подошла ко мне и сказала: "Что нос повесила! Бухарина история оправдает, а о наших мужьях никто никогда и не узнает".

За два дня до моего вторичного ареста, уже в лагере, мне приснился ужасающий сон, будто удав обвил мою шею и душит меня, а в его пасти — голова моего маленького сына, которого удав вот-вот проглотит. Я проснулась оттого, что С.Л. Якир толкала меня в бок, и, вероятно, от собственного крика.

Проснись, что с тобой? — услышала я голос Саечки. Я рассказала ей свой сон.

Вот ужас-то, ведь и явь, как страшный сон, а тебе еще такие кошмары снятся. Опять что-нибудь случится! Хотя, что еще может приключиться, кажется, все уже случилось, — сказала Саечка.

Утром об этом кошмарном сне я успела рассказать и Виктории. Ну а днем пришел надзиратель и забрал меня и С.Л. Якир в карцер, там нам учинили обыск. На этот раз надзиратель решил отобрать фотографию моего ребенка, во время предыдущего обыска не отобранную.

— Кто это? — спросил он с такой злобой, будто обнаружил еще одного "заговорщика". С фотографии светились глазки моего одиннадцатимесячного малыша. Я его фотографировала после ареста Бухарина в надежде передать Николаю Ивановичу в тюрьму эту фотографию.

— Мой ребенок, — ответила я, чуя недоброе.

— Ах ты, сука, — заорал надзиратель, — еще щенка бухаринского с собой таскаешь!

На моих глазах он разорвал единственную оставшуюся мне радость в этой жизни — фотографию сына, плюнул на нее и затоптал грязными сапогами.

Что вы делаете! — крикнула возмущенная Якир.

— А ты молчи, сволочь якирская, защитница!

Я, потрясенная, не проронила ни слова.

После обыска в карцере нас оставили лишь на сутки и отправили в барак.

Вот тебе и удав, вот тебе и сон в руку! Около часа, не больше, мы еще пробыли вместе

Саррой Лазаревной, и вновь явился надзиратель.

— Бухарина, собирайся с вещами!

— Куда? — спросила я.

— Куда, куда... там узнаешь — куда!

Весть о том, что меня забирают, мгновенно разнеслась по лагерю. Многие вышли в зону, чтобы меня проводить. Я увидела издали грустную Людмилу Кузьминичну Шапошникову, огромную Дину, Викторию. С.Л. Якир проводила меня до самых ворот Томской тюрьмы, рыдая, поцеловала, и ворота, ведущие из нашей зоны в тюрьму, закрылись.

Так я рассталась с томским лагерем для жен "изменников Родины".

Из томского лагеря в сопровождении конвоира, одетого не по форме, а в обычный штатский костюм, в пассажирском вагоне третьего класса, я была направлена в Новосибирскую следственную тюрьму. Там, в Новосибирске, в то время находился 3-й следственный отдел Сиблага НКВД, где вели следствие по вновь созданным уже в лагере делам или доследствие по первому делу. Результат, как правило, был печальным: увеличение срока или расстрел. Перед отправкой из лагеря в этап меня недолго продержали в Томской тюрьме, где предупредили, что общение с пассажирами мне запрещается. В вагоне я почувствовала, что этот запрет никак меня не ущемлял: потребности в разговорах с пассажирами и так не было, между нами лежала пропасть, очевидно, всегда отделявшая мир за решеткой от мира за пределами тюрьмы. По крайней мере, у меня было именно такое ощущение.

Позже мой странный спутник, скорее, это был не конвоир, а сотрудник Сиблага НКВД, которому было поручено доставить меня из Томска в Новосибирск, решил меня накормить. Он, молча, положил на мятой газетной бумаге (лучше сказать — бросил, как собаке) рядом со мной на сиденье пайку хлеба, соленую рыбу и даже кусок колбасы, которая никогда не входила в рацион заключенных. И к этой еде я также не прикоснулась.

Был май 1938 года. Прошло около двух месяцев после расстрела Николая Ивановича. Для себя я тоже ничего хорошего не ждала: сначала казалось маловероятным выжить восемь лет в лагере, а теперь я понимала, что последует еще более суровый приговор. Временами мной овладевало желание уйти из жизни. Казалось, это лучший выход из тупика, в котором я оказалась.